С. Н. БУЛГАКОВ

Из «Дневника»

18 (31) декабря 1922 г.
Черное море между Севастополем
и Константинополем,
итальянский пароход «Jeanne»

Итак, на пути на чужбину, изгнанный из родины, к древнему Царьграду! Так дивно и по-человечески неожиданно совершается над нами воля Божия! Рука Промысла взяла меня и извлекла из тупика, в котором я оставался в Ялте. Тяжелы были последние испытания, хотя, когда они миновали, и в них вижу милующую руку Божию. Разве можно было легко и безбоязненно покинуть родину и разве можно было ее оставить, не испытав самому ни ареста, ни чрезвычаек. Эпопея моей высылки началась еще 7 сентября, когда был у меня произведен обыск, но, несмотря на ордер об аресте, я не был еще арестован, — в канун Рождества Богородицы. Затем я был подвергнут аресту в канун Покрова Божьей Матери[1] 30 сентября, был переведен в Симферополь и там получил свой приговор. В день Казанской Б<ожьей> М<атери>[2] выехал оттуда в Ялту, где в день Введения во Храм Б<ожьей> М<атери>[3] получил извещение о требовании выехать. 3 декабря был отправлен в Севастополь, где промучился до 17-го, когда выехали в море. Все пережитое за эти три месяца было и настолько кошмарно по своей жестокой бессмыслице и вместе так грандиозно, что я сейчас не могу еще ни описать, ни даже до конца осознать. Но это дало последний чекан совершившемуся в душе и облегчило до последней возможности неизбежную и — верю — благодетельную экспатриацию. Страшно написать это слово, мне, для которого еще два года назад во время всеобщего бегства экспатриация была равна смерти. Но эти годы не прошли бесследно: я страдал и жил, а вместе и прозрел, и еду на Запад не как в страну «буржуазной культуры» или бывшую страну «святых чудес», теперь «гнию-

щую» [4], но как страну еще сохранившейся христианской культуры и, главное, место святейшего Римского престола и Вселенской католической церкви, — «Россия», гниющая в гробу, извергла меня за ненадобностью, после того как выжгла на мне клеймо раба. Положение Русской церкви в настоящее время безвыходно: она развалилась и медленно догнивает под гнетом большевистского гонения и деспотизма, в существе же дела изживает последние дни своего обособления. Дело России может делаться сейчас, кажется, только на Западе, — и путь в «Третий Рим», сейчас подобно Китежу скрывшийся под воду, лежит для меня через Рим второй и первый. Мне 51-й год, а мне опять кажется, что новые страницы жизни открываются для меня (а во мне и для России; ибо все-таки во мне и Россия), в ясности, с яркими просветами открывающейся уже смерти. Со мной семья, кроме Феди, который, надеемся, к нам присоединится. Пусть они поживут по-человечески и, если не поздно, воспитаются и поучатся, в России это уже невозможно. Конечно, знаю, что ждут всякие испытания, тоска по родине, разочарование, всему этому и надлежит быть, и положение наше без средств и неизвестность могло бы смущать в другое время, но сейчас во мне по-человечески одно чувство — радости освобождения и благоговейное чувство удивления и благодарности перед милостью Божией. Господи, благослови путь наш!

— Вечер надвигается. Плывем среди открытого моря — свобода. Мысли о России, о родных. Россия, как ты погибла? как ты сделалась жертвой дьяволов, твоих же собственных детей? Что с тобой? Никогда не было загадки загадочнее, непонятнее. Загадку эту дал Бог, а разгадывает дьявол, обрадовавшийся временной и кажущейся власти. «О недостойная избрания, ты избрана» (так пели славянофилы), а теперь приходится говорить: ты отвергнута, проклята, но ведь Бог никогда не отвергает и не проклинает, почему же Россия отвергнута? Раньше я все понимал и толковал, а теперь этой судьбы России я не понимаю и не берусь истолковывать. Богу я верю, п<отому> ч<то> верю в Бога, значит, верю, что и происшедшее с Россией нужно, совершилось не только по грехам нашим, но и да явятся дела Божии. Только *чудо* может спасти Россию, так, как мы не знаем, и то, что нужно и можно спасти, но чудо нельзя предвидеть. В Россию надо верить и надо надеяться, но то, что я вижу, знаю и понимаю, не дает ни веры, ни надежды. Я не могу даже любить ее, могу только жалеть, а между тем есть долг верности России. Вернее сказать, то, что лежит между Северным и Черным морем и занимает шестую часть света, не есть Россия, по

крайней мере для меня, я даже не чувствую русскую землю, даже от нее без боли отрываюсь, действительно, а не по большевистской только бумажке экспатриируюсь. Но где же Россия и есть ли она, если в себе ее не чувствуешь? есть ли и я сам? Я ощупываю себя как после обморока или глубокого сна, не понимая, где я, жив ли я и что со мной, как если бы я потерял свой вес или объем. Что со мной? Не понимаю, не понимаю. Пойму, если надо, если Господу угодно, а м<ожет> б<ыть>, и не пойму, тогда это смерть, потому что смерть для живого непонятна. А ведь я жив и хочу жить... Я не могу даже сказать, что у меня есть боль о России, нет, боли нет, как не болит отрезанная нога, отекшее тело, утратившее чувствительность. Я не хочу быть неблагодарным, свиньей, эгоистом (хочу и нахожу, что, раз мне дана жизнь, я могу радоваться этой жизни), я не дам пинка копытом несчастной родине, но я не буду ни лгать, ни сентиментальничать у одра гноящегося Иова, да не возгремит с неба Вышний на горе.

Я туп и растерян, я не знаю и не понимаю, что случилось, и это не личное мое непонимание и ограниченность, это — так есть. Бог понимает и знает, что Он делает, когда движет и сталкивает ледяные глыбы, движет землю и сотрясает ее, но мы не понимаем. Произошло погружение Атлантиды [5], хотя по человечьему разумению она и могла не погружаться, и непонятно, почему она погрузилась. Бог понимает, не мы... Разумеется, я могу видеть и учитывать и ошибки, и заблуждения, но и при всех них той гибели, того погружения Атлантиды, смерти России могло не получиться, а оно получилось. Смерть непонятна, по крайней мере, для нас, остающихся по сю сторону смерти, живых, не умеющих подняться выше различия жизни и смерти. *Россия спасена,* раздалось в моем сердце перед большевистским переворотом в 1917 г. как откровение Богоматери (во Владычной Ее иконе) [6], и я верен и верю этому завету. Но в ответ на это исторически Россия погибла, значит, она спасется через гибель и смерть, *воскресая,* но воскресение нам непонятно, оно — чудо. Так толпятся в уме и сердце неисходные противоречия. Она поражена, *смертельно* и навечно разорвана и ранена. Она исцелится? — благодатью Духа Св., но тоже чудом, новым созданием, а это сердце неисцельно ранено и болит. Конечно, на крайний случай можно обойтись и без родины, когда есть Родина — Церковь, но и от родины я не должен, не могу и не хочу никогда отказаться и, значит, умираю всю оставшуюся жизнь, пока Господь не исцелит бесноватую Россию. Его воля да совершится.

19.XII.1922 (1.I.1923)

Утро в море. Сегодня ночью на пароходе встречали Новый год, гудели, стреляли...

Когда я оглядываюсь назад, на «Россию», я чувствую себя таким жалким ничтожеством, которое, даже не замечая, вылили случайно и выбросили в роль прихлебателя Зап<адной> Европы, и такое обидное и горькое чувство бессилия. А вместе с тем чудесное спасение из пещеры львиной[7], — недаром мы отъехали 17 декабря в день Даниила пророка и Трех отроков[8]. Под звуки празднования Нового года я опять задумался над своей постоянной мыслью о соединении Церквей, и снова стало страшно трудностей этого соединения. Разность стилей, — недаром за них так упрямо держатся латиноненавистники! Ведь это горько, невыносимо, объединившись, жить по разным календарям, по разному времени праздновать св. Пасху и Четыредесятницу[9]. И в темных массах народа, в которых пробуждается теперь темная ревность о православии, изменение стиля и церк<овного> календаря вызовет наибольший протест, как наиболее осязательное: наследие старой ненависти и отчуждения! И эти в сущности бытовые, обрядовые различия оказывались и могут еще оказаться сильнее догматического единения! Как трудно быть на грани двух эпох, на историческом рубеже, ни здесь, ни там. Но что делать? Когда я думал и набрасывал в Ялте свои Jaltica[10], я ни о чем не думал, кроме истины и самого вопроса, и то, что об этом придется говорить и свидетельствовать пред всем миром, показалось бы мне тогда нелепой и несбыточной сказкой. Но нет ничего тайного, что не становилось бы явным, и что говорится шепотом — возглашается на сонмищах[11]. Сейчас меня ждут впечатления Царьграда и «восточных патриархов», надо себя проверять еще и еще новыми испытаниями.

22.XII.1922 (4.I.1923)
На рейде в Ковани

Вот уже мы достигли таинственных вод Босфора и уже третий день стоим в карантине у входа в Царьград. Проза и скука карантина притупили первое впечатление, но оно было царственно и прекрасно. К вечеру по летнему морю в лунную ночь мы подошли к Босфору, в стене берега открылись ворота, и мы вступили в тихие воды, обрамленные мягкими берегами, скользя как по стеклу. Напор дум волновал мою душу, и глаз радо-

вали эти дивные берега. Здесь ключ европейской и мировой истории, здесь Иустиниан[12], здесь Константин Великий[13], здесь: Иоанн Златоуст, Фотий[14], Византия и ее падение, здесь узел политических судеб мира, и доныне не распутанный, а еще сильнее затянутый! В ум вмещается такое богатство воспоминаний и такой напор чувств, теряется мысль. На рейде стояло несколько пароходов. Наш пароход, полный эмигрирующих евреев, печальных, карикатурных, но старозаветных и симиотичных, тотчас вступил в сношения с другим пароходом, стоявшим на рейде из Румынии: он был полон евреев, переселявшихся в Палестину. У нас тоже оказался ревнитель этого дела, начался разговор на древнееврейском языке, а затем многочисленный, хотя и не очень стройный хор с того парохода долго пел свои национальные песни, и с гаснущим днем тихо гасли слова песни. Господи, как все это трогательно: из большевистской палестины в эту Палестину? И всюду они! А на следующий день к ним явились уже свои из Константинополя, затем еврейское общество прислало подарки (уделило и нам — анекдот!), и здесь они — свои. Какая всепроницаемость, какая нерастворимость у этого народа: едут — старики и дети, зимой, в Америку и Палестину, уверенные в себе, не теряющиеся, шумные, смешные и трогательные. Избранный народ, вместе и отверженный и sacer[15] в двойном смысле слова.

Однако нам недолго пришлось погружаться в мистику и созерцание, на другой же день начался санитарный контроль и карантин. Самое прискорбное его последствие то, что, может быть, нам придется провести здесь и день Рожд<ества> Хр<истова> или же приехать в самый его канун. Я с тревогой думаю, неужели же это имеет преобразовательное значение и для будущей моей жизни, и я буду лишен возможности *служить*... Но Господь так был милостив ко мне во все дни живота моего, неужели я буду лишен того, что для меня жизнь? Настоящее рассматриваю как эпитимью, на меня налагаемую. Думаю, как юная душа Феди будет впитывать все впечатления, если Господь его сюда приведет.

23.XII.1922 (5.I.1923)
Ковани

Стоим на карантине, томимся. Говорят, завтра выедем, если так, то Рожд<ество> Хр<истово> встретим на судне, в Константинополе. Иногда охватывает тревога пред многими трудностями, разочарованиями, ныне предстоящими, но гоню это мало-

душное чувство как грех перед Богом. Думы мои, конечно, о родине. За что и почему она отвержена Богом и обречена на гниение и умирание? Грехи наши тяжелы, но не так, чтобы объяснить судьбы, единственные в Истории. Не повторю друзей Иова и с ним вместе стану прекословить Богу за родину![16] Такой судьбы и Россия не заслужила, она как будто агнец, несущий бремя грехов европейского мира, и она заклана и растлена. Здесь тайна: верою надо склониться и надеяться, но человеческому уму недоступно. Все исчадия адовы слетелись и душат Россию и... [строчка неразборч.], Господи.

24 декабря 1922
Навечерие Р<ождества> Хр<истова>.
Пароход «Jeanne», Ковани

Итак, день Р<ождества> Хр<истова> встречаем в безбожной международной прозе пароходного карантина. Не удостоил Господь сладостной молитвы в этот день. Сегодняшний день ознаменован для меня тяжелым испытанием: утром в каюте поскользнулась и упала моя дорогая Неличка и повредила себе ногу. В первое время казалось, что если не перелом, то вывих, бедная страшно страдала, и остро стала вся безвыходность положения и в карантине, когда требуется немедленная помощь, и в незнакомом мировом городе К<онстантинопо>ле. И вся радость от предвкушения его созерцания погасла, и новое бремя жизни легло на усталые плечи. В середине дня Неличке стало легче, вывих отрицают, хотя положение и неясно. Господи, благослови завтрашний день, рожденный в Вифлееме, смилуйся над нами.

25 декабря 1922
Рождество Христово. Ковани. Пароход «Жанна»

Вот и великий наш праздник, но — увы, без богослужения, без церковной радости, на чужбине, на пароходе, в карантине и, главное, в тревоге за мою любимую, не говоря уже о безвестном будущем, о котором нет возможности даже думать. Она мучилась ночь и лежит, прикованная к постели. С вечера я чувствовал удивительную, единственную, сердцу слышную тишину Христовой ночи, когда Господь явил безмерность любви своей к миру, а ночью тосковал о Вар<варе> Ив<ановне> и как будто слышал сердцем ее тоску. На пароходе день, серый и туманный, развертывается обычно.

Говорят, сегодня будем в К<онстантинопо>ле, но мне не суждено будет увидеть его с моря. Что-то даст Господь при высадке! Господи, благослови!

26 декабря
Собор Пресв<ятой> Богородицы.
«Jeanne». Политический карантин

Вчера был полицейский контроль, мне было обещано, что я буду спущен сегодня в 10 ч<асов> утра, но сегодня прошел весь день, а между тем пропуска прислано не было. Уезжали, один за другим, за всеми были приезжающие, кому позаботиться, но мы оставались одни, холодные, голодные, сиротливые. И был такой час, что я несколько раз плакал, глядя на детей, и все будущее представлялось мне в безнадежном свете, тем более что лиры мои быстро тают. Это были часы испытаний веры, когда малодушие входило во все фибры души. Но затем полегчало и отошло. Появилась надежда на выгрузку хотя завтра. День сегодня непогожий, дождливый, Неличка в постели, не знаешь, куда деться в этом огромном городе-пустыне. Помощь оказали опять евреи, их комитет будет нас и высаживать, одиноких и сирых, беззащитных. Здесь на каждом шагу видишь и убеждаешься, какие это мировые силы и какие провинциалы мы, русские, по сравнению с ними! Во всяком случае, завтра надеемся спуститься на турецкую землю. Господи, благослови и облегчи путь детей и Нелички, да будет Твоя святая воля!

2 (15) января 1923 г.
День преподобного Серафима[17].
Константинополь

Целая вечность протекла за эти дни и, конечно, трудных и изнурительных впечатлений, чтобы не сказать разочарований. К<онстантинопо>ля я еще не видал, из-за трудностей устроения, непрерывной беготни, сломанной ноги Нели и страшных дождей и грязи. Первые впечатления были тягостны: мы ездили по городу из места в место (с пресловутых подворий, где нас не приняли), добрым ангелом явились Н. А. Власенко и Ю. Н. Рентицкая. Сразу же в душу полезли, как едкие туманы, впечатления о разлагающейся эмиграции: нужды и нищеты, тоски и уныния, неизбежная, но печальная картина. Я, конечно, еще не в состоянии в этом разобраться, но вижу и чувствую, как все тяжело, и еще: как силен большевизм и здесь, и вообще за пре-

делами России. Однако самое тяжелое и трудное ждало меня в области церковной, — острое и совершенно старомодное, миссионерское столкновение с католиками, которые тоже применяли здесь миссионерские приемы. Настроение и отношение к вопросу о соединении Церквей арх<имандрита> Анастасия[18] и всего его клира *ничем* не отличается по существу от антониевского[19], они *ничего* не пережили и ничему не научились, никакого духовного движения и никаких сил, а ожесточение и от бессилия, и от агрессивного образа действий здешних иезуитов[20]. А я несчастный до такой степени чувствую свое безволие и бессилие перед этой стеной, что в глубине души уже думаю о капитуляции и сознаю лишь свою немощь. Боже, помоги, научи, укрепи... Я чувствую себя таким бездарным, бессильным и робким... А в то же время и самые вопросы приобретают трагический характер: я *обязан верностью* своей Церкви: — неверный бессилен и ненужен, как снявший рясу поп, и плодить смуту и новый раскол в эту страшную минуту я не могу и не должен. А в то же время не могу и погасить загоревшийся во мне свет. Может дойти до того, что вопрос станет: или — или, а я этого-то и не хочу, не допускаю, не могу, я хочу: и — и. Но, м<ожет> б<ыть>, это моя природная бесхарактерность и безволие, стремление сесть между двух стульев. Но я не могу иначе. Насколько легче было Вл. Соловьеву в сравнении со мною: он не был священник и не жил в это страшное, ответственное время[21]. А я связан канонической дисциплиной, и вместе с велением совести. Господи, помоги мне, Матерь Божия, осени своим покровом.

Материально Господь помог, и мы устроены, но все здесь так мучительно трудно...

7(20).I.1923

Вот уже вторая неделя идет в К<онстантинопо>ле, и та же смута и туча в душе. Я чувствую себя совершенно бессильным перед надвинувшимися вопросами. С одной стороны, каждый день и час приносит с собой новые черты крушения православия вместе с Россией и совершенную неподвижность здесь пребывающих, а тем более местных этнографических Церквей. Все они равнодушны взаимно и слабы, так что, в сущности, речь может идти только о соблюдении привычных отношений, а не о поддержке, и Русская церковь влачит жалкое существование беженства. А с другой — натиск воинствующего католицизма, уверенного, умного, сильного, победа которого так же неотра-

зима, как дредноутов над ручными триремами [22]. Остров православия смывается, и всякая попытка его оградить только свидетельствует никчемность. Национальная Церковь держится не православием, но некультурностью, косностью и национализмом. В России был натиск лишь советского, живоцерковного насилия, а здесь лютого, разлагающего бессилия. Я чувствую себя парализованным во всех своих действиях и начинаниях. Я здесь нужен, и за меня хватаются, как за авторитет, а я ношу в душе бурю неутешную. Господь оставил меня изведать всю мою слабость и несостоятельность. И в то же время слезное зрелище здешнего беженства: какие овцы рассеянные без пастыря, какая скорбь и какая беспросветность! Я уже теперь по ночам просыпаюсь от боли за родину и о родине, за семью, за Церковь. Это какая-то тоска последних дней. А между тем нужно находить себя, нужно устраиваться к новой жизни. О том, чтобы выступить здесь вслух со своими идеями диалогов «У стен Херс<ониса>», не может быть и речи: это — не литература, но ответственное действие. И однако, путь один перед Богом и перед людьми: поставить честно и прямо вопрос о соединении Церквей и условиях этого соединения. Но когда я реально соприкасаюсь с православием, то видишь такую толщу косности и предубеждений, что является совершенно отчетливое сознание своей утопичности и безнадежности. Или оставить мертвых погребать своих мертвецов [23] или преступно плодить новый раскол и смуту, когда Церковь изнемогает. Нельзя бездействовать, нельзя и действовать, и эта ἐλοχὴ [24] порой дает какое-то чувство смертной безысходности. Снова повторяю и сознаю, что я не могу жить в разрыве с родной Церковью и вне ее, и вместе с тем, перерос ли я ее или не дорос, но кризис ее и во мне совершился, и меня обессилил. Боже, помоги мне, не ведаю пути... и как противоестественна, смертна жизнь эмиграции, как безрадостна. Когда думаешь, что это на годы, м<ожет> б<ыть>, до конца, то просто теряешься. Или это первое время? Только за детей, им там, там... дома — ведь одна смерть.

9 (22).I.1923 [25]

Вчера я имел счастье посетить Св. Софию, Бог явил мне эту милость — не умереть, не увидев Св. Софии, и благодарю Бога моего. Я испытал такое неземное блаженство, в котором потонули как незначащие все мои скорби и туги, прошлые и будущие. Душе открылось нечто абсолютное, непререкаемое и очевидное. Из всех виденных мною дивных храмов, из которых

самое чарующее впечатление оставили на меня Св. Марк и Notre-Dame [26] это есть *храм, der Dom* [27] в абсолютном и непререкаемом смысле, храм вселенский. Это непередаваемая на человеческом языке легкость, ясность, простота и дивная гармония, при которой совершенно исчезает тяжесть, — тяжесть купола и стен, это море света, льющегося сверху и владеющего всем этим пространством, замкнутым и свободным («Возведи очи твои, Сионе, и виждь, яко прийдоша к тебе от запада, севера и моря и от востока чада твоя» [28]), эта грация мраморного кружева и красоты колонн, эта царственность — не роскошь, но именно царственность золотых стен и дивного орнамента — пленяет, покоряет, умиляет, убеждает... Исчезает ограниченность и тяжесть маленького страждущего *Я,* нет его, душа растекается по этим сводам и сама сливается с ними, становится миром, я — в мире и мир во мне. И это чувство растаявшей глыбы на сердце, это ощущение крылатости, как птица в синеве неба, дает не счастье, не радость — но блаженство, — какого-то окончательного ведения, всего во всем и всего в себе, — всякого всячества, мира в единстве. Это, действительно, *София,* актуальное единство мира в логосе, связь всего со всем, мир божественных идей κόσμος νοητός [29]. Это Платон, окрещенный эллинским гением Византии, это его мир, его горняя область, куда возносятся души к созерцанию идей. Языческая София Платона смотрится и постигает себя в Христианской Софии [30], Премудрости Божией, и поистине храм св. Софии есть художественное, следовательно, наглядное доказательство и оказательство явления св. Софии, софийности мира и космичности Софии. Это не небо и не земля, свет небесный над землею — это не бог и не человек, но сама божественность, божественный покров над миром. Как понятно стало чувство наших предков в этом храме, как правы они были, говоря, что не ведали они, где находятся, на небе или на земле: они и на самом деле были ни на небе и ни на земле, но *между,* в св. Софии: это μεταξύ [31] было философским провидением Платона. Св. София есть последнее и молчаливое откровение греческого гения о св. Софии, жест векам, которого уже не смогли и до конца не умели осознать и выразить богословски гаснущие византийцы, и, однако, она жила как высшее откровение в душах их, зарожденная в эллинстве и явившая себя в христианстве. И здесь, в Софии, для Софии, в связи и по поводу Софии зазвучала божественная софийская симфония православного богослужения...

И здесь с новой силой, убедительностью, самоочевидностью постигаешь неведомый ему самому смысл слов св. Иустина фи-

лософа[32] о том, что Сократ и Платон были христиане до Христа, и Платон есть пророк Божий о Софии в язычестве. Мне никогда не приходилось слыхать или думать, что св. София есть платоновское царство идей в камне, восставшая над хаосом небытия и его победившая идея, актуальное *все,* все как единое, всеединство. Оно явлено и показано миру. Боже, как свято, как дивно, как неоцененно все это доказательство...

Входишь... И отовсюду, сверху и снизу, со всех сторон душу наполняет это чувство пространства и свободы, безмерности и ограниченности не борьбы границы — *πέρας,* — с безмерностью ἄπειρον[33], но светлого радостного согласия — тайна св. Софии... Останавливаешься до купола: он впереди. Со стен звучит тихо и гармонично это золото, оттененное дивным и благородным орнаментом. Разве могут быть не золотыми, не сверкающими нетленным, нержавеющим золотом стены Храма? Разве могут быть не золотыми стены и здания небесного Иерусалима[34], спустившегося на землю? Это само собой разумеется, и здесь это показано. Перед глазами эти колонны справа и слева, вдали высится алтарь, а свод зовет к себе, под себя, пережить его небесность, и входишь, становишься под ним, в самой его середине, он тихо и властно объемлет душу и входит в нее... Запрокидываешь голову, насколько можешь, чтобы глотнуть этот свод полной грудью, напиться ею и раствориться в нем, и душа уплывает в его безмерности, теряется чувство тяжести, телесности, летишь, летишь, как птица. Но снова опускаешь голову и снова изумленно смотришь на высящийся алтарь, на боковые колоннады, на колонны хоров с их кружевом мрамора, с непрекращающимся звучанием золота стен, и снова улетаешь к своду... О, я знаю, я не раз в жизни испытал это чувство блаженства перед великими создателями искусства, боговдохновенными творениями, и каждый раз это было свое, неповторяющееся — тоже блаженство, но всегда различное и индивидуальное. И здесь, после *рабства,* рабства самым суетным и презренным стихиям мира, эта свобода в Софии, этот полет в лазури. Приближаешься к алтарю, опустевшему и лишенному своего престола. Здесь мысль невольно несется к прошлому: как здесь все было, если ограбленный скелет храма так дивен... Что было здесь, когда Патриарх и Царь со всем клиром и синклитом, в златых одеждах, в золоте небесного Иерусалима священнодействовали в этом алтаре, и храм наполнен молящихся, и курился фимиам: когда была полнота живой Софии, а не омертвевшее тело ее. Какой был замысел богослужения в этом храме... Не было на земле подобного по красоте софийности — богослу-

жения. А ныне... ныне храм Бога, но не христианского, отнят у Христа и отдан Лжепророку. Но и ныне здесь молятся и молятся достойно, достойнее тех, кому принадлежит храм... Бог сдвинул светильник и отдал храм чужому народу. Они молились. Как прекрасна, благообразна, чинна была эта молитва, как красивы были они сами, мирно и благоговейно то склонявшиеся, то поднимавшиеся в молитве, как благородно звучали их восточные напевы в молитвословии. Они, пленив Храм, обарабили его, дали ему свое лицо, свою душу. Конечно, они не заметили, не знают св. Софии, ограничили ее до мечети, но они явились и являются благоговейными «местоблюстителями». И их молитва, их благочестие производят чарующее, успокаивающее душу впечатление: «из уст и ссущих соверших еси хвалу»[35]. Они — младенцы и ссущие. Храм отнят от недостойных и до времени вверен местоблюстителям. И невольно подумалось: они достойнее нас, тех, которые недавно еще собирались «водрузить крест на св. Софии», чтобы безобразничать там безвкусием и рабством своим... Но София этого не допустила, отвергла непрошеных и осталась у прежних детей. И да будет...

София есть Храм, вселенский, абсолютный храм вселенского человечества и Вселенской Церкви, имеющий для христианского мира в его истории значение, аналогичное Иерусалимскому Храму, интегральное значение. Иерусалимский храм принадлежит Ветхому Завету, началу истории, посему он должен был упразднiться. Храм Новозаветный принадлежит вселенскому будущему Церкви, а сейчас пока нет Вселенской Церкви в ее исторической силе и славе, после раскола церковного, после Фотия и Веттулария[36] отнят у христиан и отдан местоблюстителям. И снова: какая слепота, какая детскость у нас, когда мы считаем себя, Россию Николая II и Распутина, Св. Синода, Плеве и Победоносцева[37], достойной и готовой воздвигать крест на Софии: говорят, приготовили даже в Питере, с какого-то приходского храма, крест на Храм... думали, как Магомет, окровавленными сапожищами вступить в Софию и наложить и в ней на стене свою лапу, синодальным хором пленить эти стены. Но в гневе воззре Господь, и посмеяся нам... И правы пути Твои, Господи! Но — или София есть археология, памятник прошлого, музейная ценность, — но против этого говорит... она сама: пусть судит и свидетельствует об этом имеющий очи видеть и уши слышать, — здесь носится Дух Божий, благодать Божия, зов Божий, веление Божие, непреложность обетования, *София живет* божественной, бессмертной жизнью, София есть потрясающий факт для сознания и современного, и всех времен хрис-

тианства; или — София — символ, пророчество, знамение. У старообрядцев есть мудрое, как вижу теперь, поверье, что София будет восстановлена в конце мира. Если освободить эту мысль от эсхатологического испуга, ее окрашивающего, то это значит, что София осуществится, станет возможной лишь в полноте христианства, в конце истории, когда явлен будет ее самый зрелый и последний плод, когда явится Белый Царь, и ему, а не политическому «всеславянскому царю» [38] откроет свои врата Царьград, и он воздвигнет Св. Софию, а осветит ее не распутинский ставленник, но вселенский патриарх, Папа Римский. И посему история не кончена... Мы еще в «средних веках» в смысле варварства и идем к новому Средневековью в смысле вдохновения Истории — впереди, хотя мы уже видим и чувствуем ее конец, к чему она идет, но история внутренне не окончена, она на полном ходу, и прочь туман и испуг, навеянный тяжелым часом истории, внемлите гласу Св. Софии, ее пророчеству, она не в прошлом, но в будущем, она зов векам и пророчество, история окончится внутренне в Царьграде и лишь тогда станет возможно, без испуга и не от утомления говорить об «эпилоге истории», Соловьев рано об этом заговорил... [39] Есть история, история внутренне не закончилась, пока нет в мире христианской св. Софии, пока она не стала хотя на мгновенье победным фактом истории, вот что говорила мне св. София.

Разумеется, обыденное «православное» сознание считает, что время Софии в прошлом, когда был православный царь и патриарх в Царьграде. Но это до очевидности не так: то была *Византия,* определенная, местная и по отношению ко всему остальному миру насильственно тираническая, как и по отношению к местной, вообразившей себя Вселенской Церкви. Но св. София, хотя и создана Византией, точнее, всем эллинством, но возвышается над византизмом, есть его отрицание. Как возможна оказалась св. София в Византии? Как могла она иметь своим строителем Юстиниана, так же отразившего на себе черты византийца? Это — загадка, нет, это — тайна. Или это значит, как всего естественнее думать, что София адекватно выражает Византию, но тогда она должна была бы погибнуть с нею, а она живет, так же как живет Платон, хотя нет уже эллинов (а есть лишь этнографические их сродники)? И разве Византия, это зрелище церковных разбоев и насилий над Церковью, а вместе и непрестанного надмения поместной Церкви, может быть признаком достойной Софии? Конечно, только гений эллинства, живший в византийстве, мог родить одинаково — богословие Вселенских соборов и св. Софию, и вне эллинства ни-

где — менее всего в Риме, тоже не знавшем и не понимавшем себя, своей собственной природы, и служение Вселенского Первосвященника смешавшего с земным владычеством, — было бы это возможно. В этом свидетельство непререкаемое *самобытности* восточной Церкви, от Византии переданной России, она не может и не должна быть утеряна и под водительством вселенского первосвященника, — непониманием и небрежением этой истины питалось и питается разделение Церквей, ее восстановлением — и только им одним — может быть оно преодолено (иначе попытки унии будут иметь такую же судьбу, как и доселе). И об этом свидетельствует св. София. Невольно мысль несется в наши русские, домашние, семейные храмы, полные такого тепла и уюта. И тот же небесный купол над ними, но этот купол над «домашней церковью», небо в клети, в доме... Это тоже купол небесный, но не тот свод над всей вселенной, о котором говорит св. София, он есть его prius [40], ему предшествует и во времени, и в истории, его предполагает. Это — интимность, — первохристианство, катакомбы, монастырь, домашняя церковь, но это не мировая история, не Человечество Конта—Вл. Соловьева [41], а св. София *есть* это Человечество...

И медленно переходишь из места в место, из точки в точку, причем все в новых переливах, в новых перспективах открывается этот свод небесный; время остановилось, а между тем зовут, надо уходить. А там молятся, поют, припадают, кланяются мусульмане на месте святе, ныне опустелом, у св. Престола... Как благородно, как величественно лицо молящегося турка, как красивы движения... Нет, сейчас рано освобождать и воздвигать крест над св. Софией, когда снимаются кресты с наших домашних русских храмов, пусть пока там благочестиво молятся местоблюстители, своими щитами и арабскими молитвами заградившие наши священные изображения. Боже, до чего таинственна история [неразб.] человека...

* * *

Русские славянофилы всегда относили пророчество о Византии к русскому православному царю, всеславянскому (Тютчев) [42]. Но этого мало для Софии. Что для космоса Россия? — провинция. — Славянство? этнографическая группа. Но София всенародна, она не национальная, местная, но *Вселенская* церковь, все народы призывавшая под свой купол. А ее хотят сделать поместною, народною, приходскою церковью, ее, кафедрал мира... А вместе с тем заветы царства отданы Востоку, восточ-

ной Церкви, Византии и России. Но как София была создана, когда не было еще разделения Церквей, так и возвращена христианскому миру, лишь когда его не будет: как этого не понимали наши славянофилы, что нельзя церковной провинции иметь храмом Софию. Единственная Церковь должна породить единого Белого Царя, но этот царь есть историческое задание и мечтание Востока, которое трагически не удавалось до сих пор, и под развалинами царства рассыпалась и Церковь, за вторым Римом рушится третий, но воскресает *новый* Рим, который в едином древнем Риме получил свои бармы[43], а Москва только промежуточная точка в пути...[44] <...>